

ПРОВОДЫ МИТРОХИ

Пароход остановился у пристани Усть-Биджана, в том месте, где могучий приток врываегся в Амур и наполняет его водами из таинственных сопок Хингана.

Пароход спустил сходни,—одни пассажиры сошли, другие садились. На пристани собралась ватага казацких парней. Они провожали Митроху. Митроха, толстощекий великан с чубом, лениво грыз кедровые орешки. У схода приятели вручили ему мешочек. Он взошел на палубу, стал у перил и продолжал, весело улыбаясь, грызть орешки и сплевывать шелуху. Когда в кармане больше не оказалось, он стал черпать из мешочка. Парни, оставшиеся на пристани, были тоже здоровенные статуи с чубами. Они долго смотрели на Митроху молча, потом кто-то крикнул:

— Прощевай, Митроха! Лихом не поминай!

Митроха, мотая головой, отозвался:

— И вы, черти, прощевайте, косолапый!.. Злом не поминайте, рыжим не ругайте!..

Из-за камышей выбежал, запыхавшись, парень с гармонью. Он ворвался в самую гущу толпы и

грохнул музыку. Это была несложная мелодия: матаники-маеники. Но парень очень уж забористо играл, и несколько человек пустились в пляс. Пока пароход грузили дровами, парни в честь Митрохи выстукивали чечотку босыми ногами, приседали, хлопали себя по коленям, по пяткам и по разинутому рту, но больше всего неумоимо вертелись на одной ноге, притопывая второй ногой. При этом они гикали, высоко поднимая руки. Кто-то пытался петь. Нескладный, но могучий голос горла-нил частушки:

Теперь новые права:
Старых девок на дрова.
Лет семнадцати — любить,
Двадцати пяти — рубить.

И снова гикание и свист, и пыль поднималась туманом. Гармонист был неумоим. Танцоры тоже. Проводы Митрохи были пышны.

— Митроха-а-а!—кричали парни с берега.—Кедрова шишка! Подь, станцуй!..

Но Митрохе нельзя было покинуть палубу. Он сосредоточенно следил за пляской, и колени у него слегка дрожали в такт музыке. Неожиданно он сбросил сапоги. Выпятив грудь и подняв над головой левую руку, он забил босыми пятками дробную чечотку, не переставая при этом резкими и короткими движениями правой руки забрасывать себе в рот орешки. Лицо его хранило напряженное выражение.

— Афонча!—кричал он время от времени кому-то из танцоров.—Афонча! Шибче забирай! Шибче-е-а!

И сам все ускорял и ускорял темп своей чечотки. Он обливался потом и кряхтел. На берегу тоже забирали сосредоточенно и шибко. От пыли почернели вспотевшие лица. Струясь по ним, пот оставлял борозды.

Медленно маневрируя, пыхтя и разбрасывая воду, тронулся пароход. Гудки, дрожа, вырывались из тонкого горла сирены и далеко раскатывались над бесконечной рекой и над пустынными, заросшими тайгой берегами.

— Прощевай, Митроха!—неистово кричали пляшущие парни.

Гармонист с удвоенной энергией ударил по клавишам. Он вскидывал гармонь в воздух, прижимал ее к себе, растягивал сколько можно, он сам изгибался и извивался вслед ее переливчатому пению, и, не в силах удержаться, сам тоже пустился в пляс.

— Прощевайти-и-и!—кричал Митроха. Он махал шапкой, не переставая стучать босыми пятками по палубе.

В бинокль еще долго был виден пляс на опустевшей пристани.

У нас на верхней палубе сидели пассажиры-интеллигенты,—кажется, инспектора Госторга,—один молодой, в пестрой кепке, другой—пожилой, с болезненным, землистым лицом.

— Вот,—сказал один из них,—вот как надо плясать, чтоб было весело: босиком.

Пароход наш был товаро-пассажирский. Он тащил на буксире три баржи разного груза и тяжело поднимался вверх по Амуру. Уже больше двух суток развертывалась величественная река. Выходило солнце и садилось, шел дождь и переставал и начинался снова, а река все не кончалась.

Я прогуливался по палубе, оглядывая ее от носа к корме с левого борта на правый. Митроха уже перестал плясать. Он ел. Он достал из котомки здоровенную краюху хлеба и кусок сала и, неторопливо урча, ел.

А госторговцы беседовали, повидимому, все об усть-биджанских танцорах.

— Просто—эти люди здоровы и примитивны,—с оттенком зависти говорил пожилой с землистым лицом.

— Что ж хорошего в их примитивности?—возразил другой, помоложе.

— В тайге никак нельзя иначе,—вмешался помощник капитана.—Уж тайга, знаете... Или ты с ней сживись, или она тебя обязательно слоает.

Я сделал еще один круг по палубе. Тайга мрачно ползла вдоль берегов, как бы сопровождая бег бесконечных вод.

Молодой все еще говорил:

— Однако пляшут они, действительно, здорово!

— И тунгусы пляшут!—возражал его спутник.—Эти же парни, как никак, происходят от куль-

турной расы, а почти одичали. От тунгусов недалеко ушли.

— Да им и так хорошо!—сказал молодой, наводя фотографический аппарат на кумирню, показавшуюся на китайском берегу.

— То-то и плохо! Не должен человек забираться в тайгу, если не может ее одолеть,—заметил пассажир постарше. Он протирал окуляры бинокля говорил медленно.—В тайге зверь в берлоге живет

— Положим, и человек тоже сукин сын порядочный бывает,—прибавил помощник капитана.

Скрылась и кумирня. Аппарат и бинокль были упрятаны. Я продолжал прогуливаться. Горы Хингана, как грозная стража, тяжело вросли в оба берега—в советский и маньчжурский.

Я ехал в Биробиджан, в далекий и загадочный край между Амуром, Бирой и Биджаной,—туда, где в тайге расселяются евреи из украинских и белорусских местечек. Как-то они там?

Митроха—здоровый, веселый человек—пляшет, ест сало и урчит. На то он—Митроха, дитя тайги. Он сам—тайга. Но худосочные Менахем-Мендели, искатели «еврейского счастья», изможденные герои еврейских анекдотов, еврейская голытьба, сутулая от нищеты и горя?..

— Кажется, будет непогода,—расслышал я замечание одного из госторговцев.—Надо заходить в каюту.

Амур, действительно, почернел от злобы. Набили оловянные тучи.

ТАЕЖНЫЕ ЛЮДИ

1. ВЕСЕЛОЕ МЯСО

I

Я застал у знакомого агронома в биробиджанской деревне Н. местного старожилы—охотника Богатова Феоктиста Николаевича, сухого, коренастого человека лет пятидесяти.

— Како число сѣдни?—спросил он среди беседы.

Было десятое сентября.

— Значит, скоро первое по-старому,—озабоченно заметил Богатов.—Пора, однако, в тайгу собираться,—скоро зверь реветь будет.

Сентябрь—пора любви изюбря и лося. Самец мечется по тайге между деревьев, разрывает грудью и рогами цепкие лианы, выбегает на болота и на берега речек, неосторожно выносятся на поляны и всюду, остановившись на мгновение, ревом зовет самку.

Бывает, что один самец услышит рев другого. Тогда он с яростью бежит на поиски соперника.

Едва встретившись, они сшибутся рогами. Поединок будет кровавый. Он кончится лишь, когда

один из соперников упадет со сломанными рогами и с прорванным брюхом.

Самка, заслышав призыв самца, давно помчалась навстречу. Она бежала особенно быстро, когда сквозь гул тайги слышала два сливающихся зова. Она стоит тут же, высоко задрав красивую голову. Она смотрит, кто из любовников пожертвует ради нее жизнью, кто ляжет костью у ее ног: от него она с презрением отвернется.

Но когда непринужденной и легкой походкой приближается к ней веселый победитель, она трепещет и дрожит и отдается ему. Она сопротивляется. Она бьет ногами. Она упорствует. Но все это—жеманство. Победа дается красавцу легко, и он празднует ее тут же. Умиравший неудачник еще, пожалуй, успевает бросить на это зрелище свой последний взгляд.

Охотники, верней, браконьеры, лихорадочно ждут сентября. Они обзаводятся берестяными трубами, издающими звук, похожий на рев самца изюбря. Уже с первого сентября в глухих таежных зарослях слышен обманывающий звук этих труб. Самцы и самки мчатся ему навстречу. Слепые и обезумевшие от ярости и страсти, они вплотную подходят к засаде. Тогда вступают берданы и винчестеры.

Я давно собирался в тайгу на зверовую охоту.
— Вот с Богатовым и поезжайте!—сказал мне

агроном.—Кстати с публикой местной познакомитесь,—с казаками, раз хотите знать Биробиджан.

Мы выехали втроем на рассвете: Богатов, еще один местный охотник, некто Максимов Григорий Тимофеевич, и я.

Километрах в двух от околицы начинается вековое забучее болото. Конь проваливается задними ногами. Он не может их вытащить и проваливается передними. Он падает на бок и подминает под себя и вьюки и седока. Покуда удается вытащить коня, он настолько обессилел, что садиться на него нельзя,—приходится вести под уздцы, самому проваливаясь поминутно выше колен.

Максимов по-своему подбадривает меня:

— Ничаво!.. Ни робейти!.. Дале хуже будет...

Максимов—высокий и тоже, как Богатов, сухощавый мужик лет пятидесяти. Лицо у него безбородое, красное, нос длинный. Он похож на индейца. Но взгляд, немного рассеянный и вялый, временами придает его мужественному лицу какое-то бабье выражение.

Он был прав, говоря, что дальше хуже.

Дальше топи еще более глубоки и вязки, ходить еще трудней. Это—нетронутые, девственные биробиджанские топи. Ступала ли здесь нога человека? В траве иной раз всадника на коне бывает не видно, так что отбиться от своих здесь самое легкое дело. На каждом шагу растыканы ямы, ухабы и провалы, в которых тоже можно пропасть, не успев пикнуть.

Болота сменяются глухой тайгой без дорог и тропинок. Густые заросли леса стоят стеной, дороге прокладывать себе трудно—лианы цепляются за ноги, задерживают коня, не пропускают человека. Грандиозные кедры и пихты, дубы и березы тесно жмутся друг к другу. Беспомощно прислонившись к живым, стоят и мертвые гиганты леса—бурелом и сухостой. Толкнуть рукой—и валится огромное дерево. Иных великанов молния расколола в щепки. Она зажгла пожар, и обгорелые стволы лежат, поваленные друг на друга. Как гнилые зубы, торчат недогоревшие пни. Валяются вековые деревья, которые таежная буря вырвала из земли с корнями. А потом снова болота. Конь, осторожно ступая на кочки, обрывает траву, и она скрипит под копытом, как лопающийся лед. Дорог нет, путей нет, тропинок нет. Итти трудно.

Однако лишь к концу дня, когда мы сделали привал, я понял настоящий смысл предсказания Максимова насчет того, что будет хуже.

Воздух стоял душный, сырой и неподвижный, и с ближнего болота налетали тучи страшной таежной мошки. Да будет трижды проклято имя этого маленького хищника! Он страшней непогоды, страшней топи, страшней, чем звери. Миллионы мелких насекомых, величиной с булавочную головку, забиваются в нос, в уши, в глаза. Они замучивают человека и животных. Жалко было глядеть на коней,—они отощали за первый же день. Мириады, неисчислимые множества мошки

сплошной пеленой садятся лошадям на морды и пьют кровь. Сотрешь мошку с коня, и вся рука в крови. Мы на ночь стреноживали коней, но бедные животные так страдали, что даже стреноженные уходили, сами не зная куда в глубь тайги. Мы по следам разыскивали их нередко за десять километров от стоянки.

Мы пять дней шли все дальше в глубь таежного мира. Болота сменялись девственной чащей; мы переваливали через горы и переходили вброд реки. Я потерял представление о времени, о расстоянии, о маршруте. Но непостижимое для меня чутье вело Богатова и Максимова именно туда, куда им было надо. Еле заметная зарубка на дереве, прислоненная к дереву сухая ветка, брошенное горелое бревно,—все служит для них приметой и помогает им безошибочно повторить путь, проделанный в прошлом году или два года назад.

Мне временами кажется, что Феоктист Николаевич заснул в седле. Я заглядываю ему в лицо.

Нет,—глаза глубоко запали, они точно притаились в засаде, прикрывшись зарослями бровей, и настороженно озираются кругом, внимательно рыщут по деревьям, по траве, по болоту.

Время от времени Богатов сошками разгребает траву: ему показалось, что она немного помята,—он хочет знать, кто здесь ходил. Посмотрит и едет дальше, а нам в полуоборот бросает:

— Мигведь ходил...